

Иван Панаев

Кошелек



Иван Панаев

Кошелек

«Public Domain»

1855

Панаев И. И.

Кошелек / И. И. Панаев — «Public Domain», 1855

«Ах, тетушка, как хорош ваш Петербург! Мне никогда и во сне не снилось ничего подобного!.. Как здесь все великолепно!.. какие набережные, какие площади, какие дворцы, какие огромные дома, какие нарядные дамы, какие экипажи! А останавливались ли вы когда-нибудь, тетушка, перед монументом Петра в лунную ночь?...»

Содержание

I	5
II	10
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Иван Иванович Панаев

Кошелек

Сцены из петербургской жизни

I

*Старушка мать, бывало, под окном
Сидела, днем она чулок вязала,
А вечером за маленьким столом
Раскладывала карты и гадала.*

Пушкин

Ах, тетушка, как хорош ваш Петербург! Мне никогда и во сне не снилось ничего подобного!.. Как здесь все великолепно!.. какие набережные, какие площади, какие дворцы, какие огромные дома, какие нарядные дамы, какие экипажи! А останавливались ли вы когда-нибудь, тетушка, перед монументом Петра в лунную ночь? Любовались ли Невою? господи боже мой, как хороша ваша Нева, тетушка!

Так говорил в лирическом жару молодой человек «с цветущими ланитами и устами», с простодушным взглядом, в длинном, гораздо ниже колен, сюртуке, – настоящий представитель отрадного деревенского быта.

Тетушка, к которой он адресовался с своею кудрявою, девственною речью, была старушка, как обыкновенно бывают все простые русские старушки, с морщинами на лице, с чепцом на голове, с очками на носу и с чулком в руках.

Странна показалась тетушке речь племянника – и прутки замерли в ее руках, и она отложила чулок на маленький стол, который стоял возле нее, подняла очки на лоб, протерла глаза и пристально посмотрела на племянника.

– Что это ты, Иванушка? Бог с тобой! Экой проказник: что я за полоумная, что стану ходить по ночам да глазеть на памятники?

И старушка от души смеялась над проказником.

В эту минуту девушка, сидевшая на скамейке у ног старушки, выронила из рук иголку и шитье, подняла вверх свои темно-голубые глазки, закинула назад свою грёзовскую головку, всю в локонах, взглянула на старушку, потом украдкой бросила взор на молодого человека: ей хотелось улыбнуться, и она, кажется, покраснелась.

Но, может быть, то был луч догоравшей зари, который, уловив движение девушки, страстно прильнул к ней и любовно оцвел ее личико своим пламенем.

Хороша была эта картина из трех лиц: морщинистая старушка, румяная девушка, молодой человек, задумчиво облокотившийся на ручку кресел... Небольшая комната, просто убранная, ситцевые занавески у окон с красною шерстяною бахромою и ерани на окнах. В этой комнате все дышало спокойствием и счастьем, тою отрадною безмятежностью, о которой, кажется, не ведают люди, живущие в огромных золоченых палатах.

– Вы сегодня, маменька, что-то очень долго заработались. Уж скоро совсем смеркнется.

– Да, да, твоя правда, Лиза; у меня и глаза начинают слипаться.

И, говоря это, старушка вкладывала свои очки в красный, потемневший от времени футляр.

– И тебе пора бросить свое шитье: ты и без того у меня сегодня глаз не спускала с иголки. Надо и покой знать. Убери-ка мой чулок, Лизанька.

Девушка поцеловала руку старушки, встала с скамейки, подошла к столику, взяла чулок, который вязала она, положила его в желтую плетеную корзиночку и вышла из комнаты.

– Ах, ты моя красавица? – шептала старушка, провожая Лизу глазами.

Лиза была, точно, чрезвычайно мила с своими воздушными локонами, с своею тонкою талиєю. К ней очень шло ее темное ситцевое платье, ее черный кушачок и пестрый передничек с карманами по бокам.

– Вот, мой родной, – продолжала старушка, когда Лиза вышла из комнаты, – в этой девушке господь бог послал мне настоящего ангела. Ну, что бы я была без нее на старости лет? Уж подлинно могу сказать, что и родная дочь не любила бы меня больше ее. Вот около покрова будет пятнадцать лет, как она при мне, и я не помню, чтобы когда-нибудь хоть раз чем огорчила меня, даже когда была еще ребенком. Этакой девушки и днем с огнем поискать. А какая рукодельница! недаром молилась я об ней угоднику божию Николаю-чудотворцу! Вот хоть бы и ты, мне родной племянничек по отце, да уж любить меня так не можешь, как она.

– Как мне вас не любить, тетушка? у меня не осталось никого, кроме вас... А вы ходите когда-нибудь с Лизаветой Михайловной в театр? Я думаю, в Петербурге чудесный театр, тетушка?

– Вот у него, сударь, что на уме: театры да променады... Уж, никак, тебя, мой батюшка, Петербург-то совсем с ума свел. А?

И в самом деле, Петербург почти свел с ума молодого человека. Да и как не сойти с ума от Петербурга тому, кто не видал ничего краше, не воображал ничего совершеннее своего губернского города?

Здание К *** университета было для него идеалом великолепия. Он часто останавливался перед этим зданием и дивился его огромности, потому что до четырнадцатилетнего своего возраста он ничего не видел, кроме изб, крытых соломой, да полуразвалившегося барского дома, обнесенного плетнем, да ворот, на которых некогда была нарисована домашним гением какая-то аллегорическая картина, размытая впоследствии дождями и бурями...

И после всего этого очутиться в Петербурге, и, как будто нарочно, в ту минуту, когда он, сбросив с себя снеговой саван, обновленный лучами весеннего солнца, блестит и щеголяет и, впервые после пятимесячного усыпления, самодовольно смотрится в свое чудное зеркало в гранитной раме... Согласитесь, что тут есть от чего сойти с ума молодому провинциалу!

Долго ходил он, разинув рот, по Невскому проспекту, в этом созерцательном восторге, который не может быть понятен нам, вечным и равнодушным петербургским жителям. Мимо его проходили разного рода петербургские франты, – и те, которые смотрят на все, вытаращив глаза, и те, которые никогда ничему не удивляются. Они оглядывали его с ног до головы с какою-то презрительною жалостью, а он не замечал этих господ и не подозревал, что доставляет собою такой прекрасный предмет для их остроумия, которых ожидает награда и в легоньких гостиных, и в великолепных салонах: в первых хохот от души, в последних – едва заметная улыбка.

Он был так счастлив! В эти первые дни своего приезда он жил не в Петербурге, совсем нет: он создал свой мир, мир фантастический, идеал жизни небывалой; он населял петербургские громады какими-то волшебными существами, чудными созданиями, которые только могут зародиться в голове двадцатилетнего юноши. И если бы можно было уловить все эти туманные образы его разгоряченного воображения, если бы можно было передать словами все эти мечты, которые неопределенно, как китайские тени, проходили в голове его, тогда бы, может быть, вы яснее поняли, как легко, как незаметно переходит человек за роковую черту, которая отделяет его от безумия. И не была ли права тетушка, называя его сумасшедшим?

Тетушка очень любила его, и, между тем как он рыскал по Петербургу, она, сидя под окном в своих кожаных креслах и перебирая спичками, думала, как бы поскорей пристроить его на службу.

– Ветренник, ветренник! – говорила она, по обыкновению, когда он опаздывал к ее обеду или к чаю, а это случалось очень часто.

– Молодо-зелено! Заглазелься... Лизанька, посмотри, не идет ли он?

И Лизанька, по обыкновению, отворяла окно и очень пристально смотрела на улицу.

– Нет-с, не видать, маменька.

И старушка, по обыкновению, прибавляла:

– Экой пострел!

Надобно заметить, что с приезда племянника в доме тетушки произошли величайшие перемены. Комнатка, или, вернее, чулан, в котором лет двенадцать сряду хранился гардероб ее, отдана была молодому человеку. Все эти платья, развешанные в строгом систематическом порядке, с венчального до погребального, в котором она, безутешная, шла на Волково, за гробом своего супруга, – перенесены были за перегородку, находившуюся в ее спальне. Два стула, с перекладинками назад, стоявшие в симметрии по углам гостиной, были отданы племяннику. Тетушка никак не могла привыкнуть к таким переверотам в ее доме и часто говаривала:

– А что это, Лизанька, как будто чего-то недостает здесь?

– Двух стульев, маменька, которые перенесены в комнату Ивана Александровича.

– Да, да! точно, двух стульев.

Все бы это ничего, да старушка не шутя стала посерживаться за то, что Иванушка не возвращался вовремя к обеду, что он вместо часу являлся иногда в половине второго. Уж это ей было пуще всего не по сердцу. Елизавета Михайловна, бог знает почему, никогда не могла равнодушно слушать, когда тетушка бранила Ивана Александровича (у нее было такое доброе сердце!) – и вот она начала придумывать, как бы отвести от него гнев тетушки.

Вдруг ей пришла мысль, но она так покраснелась от этой мысли... Боже мой! Надобно было обманывать старушку! Обманывать, ей! Это ужасно! И кого же? свою благодетельницу, свою мать!..

«Нет, нет, я ни за что на свете не решусь обмануть ее!» – Так думала она, остановившись в гостиной перед часами, которые висели на стене.

«Нет, нет!» – и, в раздумье, она взялась за веревку, на которой висела гиря, и вертела в руках эту веревку; потом вдруг мигом вспрыгнула на стул... рука ее дрожала... она перевела назад стрелку.

Сердце ее сильно билось в этот вечер; и с этого вечера Иван Александрович стал всегда являться вовремя к обеду.

Однако старушке казалось это что-то подозрительно. Желудок ее вернее часовой стрелки доносил ей об обеденном часе.

– А что, который час, Лизанька? – спрашивала она.

– Еще только четверть первого, маменька, – отвечала та, потупив глазки.

– Странно! Отчего же мне так есть хочется?

– Извольте посмотреть на часы, маменька... Старушка прикладывала руку ко лбу, морщилась, смотрела на часы и повторяла:

– Да, четверть первого. Странно!

Но кроме всех означенных выше перемен, произведенных в этом почтенном доме приездом молодого человека, произошла еще одна – и очень важная. Елизавета Михайловна, от природы характера веселого и смешливого, стала очень задумываться, чаще бледнеть и краснеть, а иногда даже вздыхать. Ее иголка, когда она сидела за пяльцами, останавливалась в руке и долго, долго была неподвижна. Говорят даже, когда в комнате никого не было, она загадывала о чем-то: закрывала глаза, вертела руками по воздуху и соединяла потом два указательные пальца. А впоследствии изменила этот способ гаданья на другой: только что под руку попадалась ей какая-нибудь астра, она сейчас ощипывала листки и приговаривала: любит, не любит, точно как Гетева Маргарита.

Чтобы подметить, как изменялось личико Елизаветы Михайловны, надобно было смотреть на нее в ту минуту, когда в комнату входил Иван Александрович. Боже мой! как начинало биться тогда ее сердце, как она жестоко кусала свои пунцовые губки!

Но для чего же скрывать? Она мечтала о нем еще гораздо прежде его приезда. Ей так много наговорила об нем старушка маменька, что он и ученый-то, и умный-то, и хорошенький-то. И она, точно, нашла его и ученым, и умным, и хорошеньким. Ну, как можно было сравнить его с этим чиновником, с которым она танцевала прошлого года, когда маменька возила ее в 14-ю линию на балок к своей старой приятельнице, одной коллежской советнице? Этот чиновник только и говорил с ней о том, как занемог у них однажды начальник отделения, и как он ходил к нему на дом, и как он потчевал его чаем, да еще о том, как он устал танцевавши в танцклубе мазурку. Что ж это за разговор? Правда, с ней говорил там и другой чиновник, и говорил о литературе.

Он подошел к ней и спросил:

– Видели ли вы на театре «Роберта-Дьявола» – с?

Она покраснела и отвечала:

– Нет-с.

– А прекрасная пьеса!

Потом, после нескольких минут молчания, он опять спросил ее:

– Ну, а смотрели ли вы «Михаила Скопина-Шуйского» – с?

Она снова покраснела и отвечала:

– Нет-с.

– А эта пьеса еще лучше «Роберта-Дьявола» – с.

И этот разговор ей не нравился: во-первых, он заставил ее краснеть, потому что она никогда не бывала в театре; во-вторых, этот господин говорил таким грубым, неприятным голосом. А голос Ивана Александровича – о, это настоящая музыка! К тому же Иван Александрович человек ученый, он кончил курс в университете! Иван Александрович говорит так красиво: в его языке всегда столько души. Когда он рассказывает что-нибудь, нельзя не заслушаться. Какие восторженные движения! Да, что ни говорите, а каждое слово его идет от души и в душу!

Так думала Елизавета Михайловна, и любовь незаметно обвивалась около ее сердца, как незаметно повилика обвивается около тонкого стебля молодого дерева. И скоро все фантазии этой девушки стали разыгрываться на одну тему: Иван Александрович. Он всегда был перед нею – и днем в мечте, и ночью в грезе; он повсюду преследовал ее – и в часы забот по хозяйству, и в часы отдыха. Он ходил с нею на рынок и на гулянье... Она начала покупать все припасы дороже прежнего, и добрая старушка покачивала головою.

– Эх, эх, Лизанька, – обыкновенно говорила она, – ведь надо торговаться, дружок! Они, мошенники, ради брать лишнее.

– Я торгуюсь, маменька.

– То-то, голубчик.

Она хотела молиться, она стояла перед образом спасителя, но молитва была на устах, а в сердце не было молитвы; она видела, как другие возле нее со слезами клали земные поклоны перед этим образом... Да!.. и она, стоя на этом же самом месте, и только месяц назад тому, молилась так же усердно!

«Отчего он не идет? Он хотел прийти в церковь. Где же он теперь? Ах, если бы хоть маменька помолилась за меня! О, ее молитва скорее бы дошла до бога!..»

Неделя за неделей уходили, и Лизанька с каждым днем открывала какие-нибудь новые достоинства в Иване Александровиче. 21-го мая его рождение. К этому дню она готовила для него подарок – кошелек своей работы. Она заранее мечтала, как она будет поздравлять его, и заранее краснела при этой мечте.

Между тем много произошло перемен и в Иване Александровиче: его восторг мало-помалу утихнул; он часто сидел повесив голову, не отвечал на вопросы тетушки, бесцельно сидел у окна, глазел на проходящих, хмурил брови и грыз ногти.

– Извольте видеть, чем занимается, – говорила тетушка, глядя на него, – ноготки себе погрызывает. Чему же тебя учили, сердечный, коли ты не знаешь, что от этого ногтоода на пальце делается?

Он не слышал благоразумного замечания старушки; мысли его заняты были чем-то очень важным.

В эту минуту мимо окна проходил молодой человек чрезвычайно красивой наружности и вместе с этим удивительный щеголь: в коротеньком сюртучке самого тонкого сукна, с палкою в руке, с шляпою на ухо...

Иван Александрович пристально посмотрел на него и долго провожал его глазами, потом со вздохом взглянул на свой длинный сюртук и еще больше прежнего задумался.

II

*Бывало, мать давным-давно храпела,
А дочка на луну еще смотрела.*

Пушкин

Вечер. Небо бледнеет, и ровный цвет лазури сменяется переливами перламутра; вот протянулась розовая лента на закате: она из чудного пояса радуги; вот за нею другая – темнее, а там багрового цвета, а там ослепительное золото, и, наконец, далее огонь – и на этом великолепном зареве заходящего солнца черная тень колокольни и куполы церкви Николая Мокрого.

Нева не шелохнется в своей гранитной колыбели, и небеса, налюбовавшись ею, заботливо покрыли ее своею золотою парчою...

Дивная, нерукотворная картина!

Что огни ваших роскошных праздников перед этим небесным огнем? Что блеск вашей позолоты перед этим божьим золотом? Что ваши убранства перед этим нетленным убранством?

Иван Александрович загляделся на небо, на Неву и на каменные громады берегов ее.

«Вот уж, кажется, я и привык к Петербургу, – думал он, – а все-таки не могу пройти равнодушно мимо Невы...»

– К этой картине нельзя привыкнуть: право, чем долее смотришь, тем больше хочется смотреть, – кто-то проговорил тоненьким голосом возле него.

Это был ответ на мысль его. Он вздрогнул и обернулся в сторону. Перед ним была дама в желтой соломенной шляпке с пунцовым цветком и в длинной черной шали... Он посмотрел ей в лицо: просто красавица.

Она разговаривала с человеком очень высокого роста, в плаще с длинными кистями, из-за которого выказывался фрак какого-то особенного покроя, галстук с огромным бантом, пестрый жилет с голубыми атласными отворотами и по нем массивная золотая цепь, к которой прикреплен был золотой лорнет с разноцветными камнями. Он прищурился, поправляя свои виски, помахивал лорнетом, потом с необыкновенным искусством, с удивительною грациею приставил его к глазу, посмотрел на воду и, обратись к даме, произнес сквозь зубы:

– В самом деле, бесподобный вид!

Ивану Александровичу очень понравилась эта дама, и он не спускал с нее глаз.

Постояв немного, дама продолжала прогулку с своим кавалером, который, как уже заметили читатели, принадлежал к тому разряду франтов, встречая которых как-то невольно хочется воскликнуть: пощадите! За ними шел лакей в синей ливрее с желтым воротником и в треугольной шляпе с золотым галуном, вероятно, принадлежавшей его предместнику, потому что эта шляпа была ему не совсем впору и почти закрывала глаза; он время от времени вытаскивал из кармана орехи, грыз их и оставлял за собою таким образом дорожку из скорлупы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.